

Переулки памяти

Цикл рассказов

Опубликовано в журнале *Знамя*, номер 10, 2017

Об авторе | **Татьяна Валентиновна Хохрина** родилась в Москве в 1956 году. Окончила Московскую государственную юридическую академию (ранее ВЮЗИ) и аспирантуру Института государства и права РАН, в котором потом проработала около двадцати лет. Автор многих научных статей и соавтор монографических исследований по проблемам правосудия и теории доказательств. Была первым российским исследователем в Криминологическом центре ООН (Рим, 1989–1990). Долгое время работала в сфере юридического консалтинга. Проза Татьяны Хохриной публикуется впервые.

НЕ ПО-ЛЮДСКИ

— Коль, не видел, Соня пришла уже?

— Я думал, уволили ее. Говорили же, что очистят от этих, ну, это, органы все. Ну после врачей-то.

— Да нет, про нее не слышал пока. Вообще жалко, если попрут. Они с матерью вдвоем, а работает вообще одна Сонька. Хорошая девка. И красивая такая! Пряма не скажешь, что евреечка.

— Да ладно, сразу видно, ты что?! Но девка неплохая, все улыбается. А может, и притворяется. Они же хитрожопые такие. И все с вывертом, не как у людей. И не волнуйся, не пропадут. У них всегда деньги прижоплены. Ты о себе лучше беспокойся! А что ты ее ищешь-то? Соскучился?

— Да ладно тебе! Степаныч велел к нему прислать. Небось, как раз увольнять и будет.

Соня вошла в кабинет прокурора района, улыбаясь и не ожидая ничего плохого, как любая ее жизнерадостная восемнадцатилетняя ровесница. К тому же она знала, что Василий Степаныч к ней точно хорошо относится, всегда конфетку на стол кладет или яблоко, а иногда даже шутя за косу дергает. Называет «лучшая коса московской прокуратуры». И на занятия в институт всегда отпускает, хотя часто сам по вечерам задерживается. А в праздник Советской армии, когда весь вечер Соня играла на пианино и пела, даже сам под ее аккомпанемент исполнил «Ничь яка мисячна» и поцеловал Соню в лоб. Ну, он, правда, выпивший был.

— Садись. Как дела твои? Справляешься? А в институте? Курс какой у тебя, все забываю? Не обижают наши-то? А то фронтовики — народ простой!

Соня поняла, что это — запев, что можно и не отвечать. Он позвал ее за чем-то другим, только пока неясно зачем.

— Я что тебя позвал-то. Я, ты знаешь, крутить не люблю! Ты — девушка грамотная, ситуация в стране тебе известна. И то, какую неблагоприятную роль в ней играют твои, эти, ну как сказать, такие же, как вы, ты то есть... Ну, евреи короче, ты уж извини. Но из песни слов не выкинешь! Я сам не ожидал, даже дружил в школе с некоторыми. Но не об этом

речь. В общем, нехорошо, можно сказать, не по-людски, даже по-вражески, как теперь выясняется, повели очень даже многие граждане еврейской национальности, хотя мы их заслонили собой от фашистской гадины. А они, вы то есть, все на границу заглядывались. Я уж не говорю об этих выродках, что под маской врачей травили и фактически убивали лучших наших товарищей. Ну этим мы по следственной линии занимаемся, а я сейчас о тебе. К тебе конкретно претензий нет, работаешь хорошо, грамотная, учишься опять же и на рояле тоже... Но должна понимать. Именно из доброго к тебе отношения я с тобой так говорю. Судьба ваших всех практически ясна. Это уже детали, где вам жить определяют — в Забайкалье там или еще где на Севере или в Азии, но вопрос о высылке почти решен. И я обращаюсь к тебе как к комсомолке и, несмотря ни на что, хорошему человеку. Ты ведь встречаешься с парнем, Валентин, кажется. Хороший русский парень. Фронтовик. Всю войну — без единой царапины и живой вернулся, матери на радость. Так неужели у тебя хватит совести жизнь ему изгадить?! Разве заслужил он это?! Если ты, как мы всегда считали, достойный человек, ты должна его от себя отодвинуть! Не по-людски это — его за собой в яму тянуть. Подумай об этом. Увольнять тебя мы не будем, работай, все равно это ненадолго. А парня отпусти. Ну иди. К тебе лично, как уже сказано, претензий нет. Любе скажи, чтоб чаю мне принесла.

Соня вышла из приемной, не помнила, как дождалась окончания рабочего дня, и поспешила домой. За весь день она больше не проронила ни слова, только внутри что-то дрожало мелко-мелко и руки были такие ледяные, словно не июль, а февраль. И печатать не могла совсем. Ну неважно. Теперь вообще все уже неважно.

Когда она ехала в метро, вдруг поймала на себе несколько удивленных взглядов. Было безразлично, но автоматически она провела рукой по волосам, потом по лицу. Ладонь была мокрая. А когда она опустила глаза, то увидела, что от слез расплывается темное пятно на выцветшем старом платье. Как неловко! Нельзя реветь при людях. Стыдно, все смотрят. А может, они смотрят, потому что гадают, не преступница ли она? Не преступники ли ее мама, тетка, двоюродные братья и баба Гута? Ведь точно известно, что не преступники, только про маминых и папиных родных, которых немцы расстреляли. А остальные под сомнением. Как она.

На платформе ее ждал Валька, издали улыбаясь во все лицо. Надо сказать, чтоб он уходил. Василий Степаныч прав, нельзя портить жизнь человеку, который тебя так любит. Только как ему сказать? Может, он не знает про все это. Или не понимает, какая опасность ему грозит.

Когда Валька увидел Сонино лицо, он ужаснулся. Что случилось?? Мама?? Ей не удалось ничего придумать, она вообще не умела врать. Она вытащила его в тамбур электрички и, не вытирая слез, пересказала весь сегодняшний разговор. И замолчала. И ей казалось, что колеса вагона так грохочут на стыках, что страшный железный звук колотит ее по голове, вбивая в пол. Но потом она услышала другой звук. Валька смеялся! Как же он смеялся! Его хохот заглушил и стук колес, и паровозные гудки, и голос в репродукторе, и болтовню пассажиров. «Повезло тебе, Софка, что я — крестьянский сын. А то кто там на Севере тебе дом построит и землю вспашет?! Хорошо бы в тайгу сослали, там охота прямо от порога, не то что сейчас я за сто километров на попутках ежжу! Вытирай сопли, а то я маме своей говорил, что ты — красавица, а приведу сейчас зареванную и гундосую! Ты уж меня не позорь!»

Они прожили вместе пятьдесят два года. Это были мои родители.

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

— Надо, чтоб все было по справедливости, ведь правда же? Ну нечестно же, если одним все, а другим, которые тоже хорошие, не хуже, а даже и лучше тех, первых, — им ничего. Так неправильно! И в законах всех не так написано, там все по справедливости! И если люди сами это не понимают, значит, те, кто понимает или по должности обязан, должны им подсказать, помочь там или направить как-то...

Верочка сидела на кухне, чай уже допила и оладьи доела, но уходить не собиралась, а, наоборот, устроилась поуютнее в своем любимом уголке между старым шкафчиком с посудой и стеной, на продавленном стуле с подушечкой, завернувшись в еще бабкин огромный платок, и смотрела в окно. Она любила поразмышлять в тишине, обдумывая жизнь свою и чужую и сама себе приводя разные аргументы в оправдание ее или осуждение. Особенно после того, как новый начальник назвал ее умницей, она пришла к выводу, что просто обязана часть времени уделять исключительно мыслительной деятельности. Она же теперь работник умственного труда! Хотя всего год назад и не мечтала об этом.

Они с мамой жили очень тяжело. Особенно после того, как папка сбежал, а бабуля слегла и совсем дурная стала. Верочка еще в школе училась, и бабуля на ней была, мама по-прежнему на почте работала, чтоб домой часто забегать, когда Верочка в школе, а то бабулю-то даже запертой страшно было оставлять! Но денег совсем не было. И на еду-то не хватало, а уж про одеться или там сходить куда — и говорить нечего. Ужас просто! Перед выпускным Верочка весь вечер во дворе сидела на лавке за гаражами и так плакала, так плакала! Вот там ее Лазарь Наумыч и Эсфирь Марковна и увидели. Когда «Волгу» свою ставили. Уже поздно было, темно, но ноги прям домой не шли. Они тогда ее к себе затащили, Лазарь Наумыч все расспрашивал, а Эсфирь Марковна поила сперва кофеом со сливками, а потом чаем каким-то необычным, конфетами шоколадными угощала сколько хочешь и кормила, кормила. Еда, правда, чудная у них какая-то, не как у людей — котлеты почему-то из курицы, каша какая-то селедочная на хлеб мазать, но ничего, съедобно. А потом принесла из другой комнаты два платья на выбор. Чтоб на выпускной-то идти. Верочка и не видела таких. Красивые очень. Верочка одно выбрала, а второе Эсфирь так отдала. И еще босоножки. На каблуке, как в кино. Чуть жали, но привыкла. А потом вместе с Верочкой к ней домой зашли. Маме гостинцы занесли и предложили ей убирать у них за деньги. Стыдно, конечно, за евреями убирать, но очень с деньгами было плохо, и мама согласилась, тем более что никому обещали не рассказывать и платили больше, чем мама на почте получала. Это потом уж, когда бабуля померла, а Верочка школу окончила и Лазарь Наумыч ее в свой институт в канцелярию устроил, мама на почте осталась только утром газеты разносить, а так к ним на целый день открыто перешла, да и Верочка там полдня проводила, ведь Эсфирь Марковна хотела ее в институт подготовить. Ну это Верочке не надо, вот и начальник говорит — умница. Но ходила к ним часто, совсем уже как своя. Они, похоже, прямо за дочку ее считают. И подарки дарят. Не конфеты какие-то или заколки, а и пальто, и сапоги, и часы. Эсфирь и сережки с кольцом ей подарила. Золотые. Это при живой-то матери! Ну а что, с другой стороны. Они, евреи, богатые! Профессора оба! Кому им? Они даже отдыхать в Карловы Вары, то есть за границу, ездят, не говоря уж про Ялту и Палангу. А мама только на даче у них была. И два раза в санатории на Волге, когда Эсфирь ей путевки доставала. Они и

Верочку обещали в Крым с собой летом взять, но нет, она с ними не поедет, что люди-то подумают?! Сына-то своего прохлопали! У них сын, оказывается, был! Чего-то наделал — не поймешь, они толком не рассказали, Эсфирь рыдать сразу принимается, вот они его в Израиль и отправили! Это с родины! А он там вообще стал вроде еврейского попа, стыдоба-то! А они еще хотели, чтоб она с ними отдыхала! Вроде как член семьи. Совсем с ума сошли! В институте-то никто про сына не знает! Ведь исхитрились как-то скрыть! Умеют они это! А то бы видели они эти Карловы Вары! А тут вообще Лазарь с Фигочкой своей на конгресс в Голландию намылились и хотят там тайно с сынком встретиться! Чисто шпионы! А может, шпионы и есть?! Как устроились-то! И квартира, и дача, и Крым, и «Волга», и институт, и конгресс... Прямо как не люди, все им на подносе! А мама за ними мой!

Верочка вздохнула, вытерла тряпочкой стол после чая, взяла лист бумаги и написала в правом верхнем углу: «Начальнику Первого отдела института...».

НА ПОРОГЕ

— Клава, пока я буду у врача, ты в аптеке внизу все возьми и хлеб рядом в палатке. Только не покупай больше эти пенопластовые батоны ужасные! Пусть лучше дороже, но хоть съедобный хлеб будет. И бородинского возьми. Что значит, кто есть будет?! Я буду! И Митя, может, с нашими зайдет, а он только бородинский ест. Я знаю, что ты Митю не любишь! Но, во-первых, это глупо и несправедливо, он просто подшучивает над тобой, а не обидеть пытается. А, во-вторых, гостей принимают как следует, даже если они — не самые желанные. И вообще, с каких это пор ты взяла на себя право утверждать список моих визитеров? Я еще в своем уме, слава Богу, и не прикована к постели, я хочу среди людей быть, и не тебе это регулировать!.. Клава! Ну что ты надулась? Разве я неправа? Ну не молчи! Не начинай обиду свою вскармливать! Ну, Клава! Ну ты же знаешь, как я тебя люблю, считаю самым родным человеком, своей семьей! Я просто хочу сохранить хоть какую-то самостоятельность и иметь выбор. Ну хватит! Ну прости меня! Ну давай не ссориться! Хорошо, хорошо, я позвоню Мите, скажусь больной... Ладно, и скажу, чтоб не больше четырех человек и ненадолго. Не сердись больше? Нет, скажи, не сердись? Правда? Честное слово? А мне кажется, что обида все же тебя гложет. Да? Права я? Ну хочешь, на обратном пути в церковь зайдешь? Или лучше ты зайдешь, а я тебя в машине подожду? Что значит, «в какую»? Которая по пути будет. Я не знаю названий. Я и синагог не знаю и не была там сроду. Ну и что, что еврейка, у нас семья была совершенно не религиозная, даже темы этой не касались, а Василий Гаврилыч был русский человек и партийный работник, ему это вообще дико. Господи! Ну один раз меня приятельница угостила коробкой мацы, так ты все забыть не можешь! Я же куличи твои и крашеные яйца ем, не выясняю религиозную подоплеку! Ааааа, это ты о моей душе печешься! Так ты лучше о своей сперва подумай! Есть о чем! Ты еще обижаться будешь? Я ничего не имею в виду. Заметь, это ты вспомнила про анонимки свои и показания, которые ты против Василия Гаврилыча давала. Я вообще ни разу не позволила себе тебя упрекнуть! И из дома не попросила, хотя могла и имела все основания! А ты еще и в претензии, и губы поджимаешь! Ну давай сейчас все, что мы друг про друга за пятьдесят лет знаем, начнем на стол выкладывать! Знаю, знаю, что у тебя и ко мне счет есть. Да я уж за эти годы все свои прегрешения назубок знаю! Ну что сейчас про мои аборты говорить, когда мне

семьдесят девятый год?! И ты считаешь, что это хуже, чем родить да бездетной соседке подбросить? Да уж знаю! И отчитываться тебе не собираюсь! Вон уже гудят, машина пришла, а мы все скубаемся! Ты что, так пойдешь, без шапки? Мое дело! Заболеешь потом и будешь здесь кряхтеть и ныть! У меня нет сил за тобой ухаживать! Тоже не можешь? Не надо, скатертью дорожка! Отлично без тебя поживу! Почему это одна? Стоит только клич бросить, только намекнуть — очередь выстроится! Ну и пусть за наследством! А ты, интересно, ради чего тут крутишься? Ой, не смей меня! Спишь и видишь сюда, на Тверскую, всю свою деревню приволочь! Так и вижу толстуху твою Зинку в моей шубе и парижской шляпе. Жалко только, засрете все и повыкидываете, вы же ни вкуса, ни понимания не имеете. Коровина и Поленова со стенки сдерете и на их место картинки из календаря прилепите! А то я не знаю... Идешь ты или нет?!! И так машину со скрипом дают, а ты еще ждать заставляешь. Ну хватит, перестань дуться! По дороге на почту заедем, денег дам — племяннику пошлешь на свадьбу. Поехали уже!

Две нелепые старухи, которые так долго жили рядом, что уже почти невозможно было определить, какая из них была доктором наук, почетным членом пяти иностранных академий и вдовой первого помощника Молотова, а какая сумела из деревни чудом во время голода девчонкой еще прорваться в Москву и устроиться полумойкой в тот особенный дом, вход в который приравнялся к райским вратам. И так глубоко корни пустила неграмотная, но сметливая Клава в эту непонятную и абсолютно чужую ей семью, что срослась с ней намертво. И совсем не потому, что чисто убирала и хорошо готовила, и даже не потому, что согревала ноги хозяину, пока ученая жена по конференциям скакала, а хозяйке подробно доносила обо всех мужниных шалостях, не допустив развала благородного семейства. И даже не потому, что дважды в месяц ходила на улицу Мархлевского в безглазое здание без вывески писать отчеты о своих благодетелях. А потому, что вся жизнь прошла рядом, и эти две старухи, как две облетевшие по осени кривые осины, только опираясь друг на друга, и способны были продолжать качаться на ветру, но стоять, а не лежать под слоем дерна, неважно — на Новодевичьем, как хозяин, или в деревне Крыково, как Клавина родня. И сухая, почти бесплотная Мирра Наумовна, и рыхлая, отечная Клава стали чем-то неуловимо похожи внешне и умудрялись даже носить вещи друг друга, а уж для разговоров и дрызг находили больше поводов, чем с бывшими учеными коллегами или товарками-домработницами.

Сперва все шло по плану. Клава доволокла Мирру Наумовну до кардиологического отделения академической поликлиники, сама, как договаривались, сходила в аптеку и за хлебом. Батон все равно взяла дешевый, ишь, барыня — хлеб ей невкусный! Кончился вкус-то в ее года, не в хлебе дело, так что нечего зря деньги тратить. И бородинский принципиально брать не стала. Нечего Митю этого шелудивого приваживать! Своих детей не нарожала, так что теперь, чужого оглоода прикармливать?! А он ей, старой потаскухе, будет куриную ее лапку жать, и она, с глузду от счастья съехав, ему еще и наследство отвалит! Нет уж, коль Мирка из ума выжила, значит, ей, Клаве, надо быть за двоих начеку! Вообще не надо было никого в дом впускать, только грязь и заразу носят да жрут в три горла, но звание почетное старухе вдруг свалилось! Видать, подумали, что до восьмидесяти не доскрипит, так что надо раньше навесить. Поэтому как ни крути — все равно человека четыре припрутся вручать и поздравлять. Мирка вообще хотела банкет устраивать, но как цены-то теперешние ресторанные услыхала — чуть богу душу не отдала! Думала сперва статуэтку какую в

комиссионку снести или браслетку в ломбард, но Клава не дала. Глупости какие! От звания этого ни горячо ни холодно, только расходы на гулянку. Так что придут, чай с печеньем попьют, может, торт какой или конфеты прихватят с собой — чем не праздник!

Клава вернулась за Миррой Наумовной, на себе дотащила ее до машины, и поехали в сторону дома. Про церковь она сама даже напоминать не стала — сил нет идти, одышка, а племяннику деньги потом пошлет, свадьба только через месяц. Надо домой доползти, тряпки пораспихать до прихода гостей, Мирку накормить и самой поесть до чаепития этого парадного. Как назло не работал лифт. И хотя старухи жили на третьем этаже, но пролеты были высокие, ступеньки стесанные и скользкие — чистое восхождение на пик Коммунизма. Клава задыхалась и сипела, как фисгармония, а Мирра опустила на калошницу и хватала лиловыми губами воздух. Надо капель ей дать, да и себе плеснуть! Клава прошаркала на кухню, потянулась за старинной серебряной рюмочкой для лекарства, но шкафы, полки и склянки почему-то сдвинулись с места, хороводом двинулись вокруг Клавы, словно разматывая бесконечную киноленту, на которой вдруг вместо старых деревяшек и прочего барахла заплясали давно забытые люди, маня Клаву за собой, надрывно и тонко заверещал то ли брошенный младенец, то ли сама Клава, и все кончилось. Мирра, так и не дождавшись капель, почти задремала в жарком тяжелом пальто, а очнулась от грохота повалившегося на кухне стула, который потянуло за собой рухнувшее Клавино тело.

— Клава, Клава, что там? Что это упало? Ты не разбила Майоля? Подойди сюда, помоги мне раздеться! Ты что, оглохла? Клава??

Мирра вдруг совершенно четко поняла, что зря кричит. Ей некому ответить. Клавы больше нет. Она это почувствовала с такой же опустошающей ясностью, как когда-то совершенно четко ощутила миг, когда не стало отца. Мирра не испугалась и не растерялась. Она даже знала, как действовать. Конечно, она рассчитывала, что Клава ее переживет и Мирре своей судьбой распоряжаться не надо будет, но сложилось иначе. Что ж поделаешь... Она не пошла на кухню, ей не хотелось видеть Клаву мертвой. Она вытащила здесь же, в передней, листок бумаги из ридикюля, один из последних ее именных профессорских бланков, болтавшимся рядом с телефоном карандашом для записи телефонных звонков написала: «Все — младшему научному сотруднику Дмитрию Андреевичу Ковалевскому» — и отперла входную дверь. Потом укуталась опять в пальто, села поглубже на калошницу и высыпала в рот порошок из подаренного мужем медальона, с которым не расставалась с тридцать шестого года — со времени ожидания им ареста.

ПОВЕЗЛО

Райка попала в Москву в десять лет из Рузаевки. Она там родилась, в Мордовии, и мамка с папкой тоже, и старики их, и о Москве никто даже не думал. А думали о том, как выжить после такой войны и чем ее, Райку, кормить. Собственно, из-за жратвы все и вышло. Голодно было ужасно, но Райка почему-то росла как на дрожжах, и ввысь ивширь. И к десяти годам стала такая здоровенная и толстая, что лечившая папку после ранений участковая докторша Ольга Георгиевна, застрявшая в Рузаевке после эвакуации, напугала родителей непонятными названиями болезней и велела повезти Райку в Москву специалистам показать. А заодно и папке направление в госпиталь ветеранский

выправила, он к тому моменту почти не ходил уже. Папка в госпитале вскоре помер, Райку показывать врачам было недосуг, да и в Москве она сразу похудела, особенно как стала мамке помогать дворы мести и лестницы мыть. Жилье им ЖЭК, где мамка дворником и уборщицей оформилась, выделил на первом нежилом этаже, но Райке даже нравилось — комната большая, сухая, теплая, весь подъезд мимо тебя ходит, всех жильцов в лицо знаешь, и они тебя, многие Райкиной мамке сочувствовали и помогали, чем могли, а некоторые нанимали ее убрать там или постирать или бабушку старенькую вымыть, так что, хоть папки и не стало, но жили они даже сытнее.

Из-за первого этажа вообще-то все и случилось.

Где-то выше жила профессорская семья Брейшиц, Берта Натановна и Рувим Маркович. Райка думала, что они старые уже: он лысый, у нее одышка, оба в очках и вежливые, как при старом режиме. И вдруг оказалось, что Берта беременная! Она этому, похоже, удивилась не меньше Райки и плохо представляла, что с этим делать. Но, как положено, через девять месяцев родила мальчика. Веню. Малюсенького, тщедушного и лысого, как папа Рувим. Такого крохотного, что родители боялись его в руки взять, а он орал как резаный, дни и ночи напролет, успокаиваясь только на улице в коляске. И Берта — даром, что ли, профессорша! — нашла решение. Она за двадцатку наняла Райку Венечку в коляске катать, ну и сидеть с ним, если надо. А Райке в одиннадцать лет с куклами играть поздно, а с живым дитем — в самый раз! И денежки опять же, на платьице новое или ботинки.

Братьев и сестер у Райки не было, к Венечке она привязалась, как к родному, видя в нем и братика и сыночка одновременно, нехотя бегала в школу и спешила обратно к Брейшицам, чтобы с малышом возиться. И все были счастливы. Мамка — потому что копейка шла и кормилась Райка в богатом доме, да еще Берта с ней английским занималась, когда Венечка спал. Берта с Рувимом — потому что сынок орать перестал, улыбался все время, щеки от долгого гулянья были как красные яблочки, а у родителей опять появилось время науку свою жевать. Венечка — потому что рос в любви, на свежем воздухе, в теплых, ловких и заботливых Райкиных руках. И сам любил ее так, что первое слово сказал: «Яя». Брейшицы подумали, что это он о себе говорит: «Я, мол, это, я!», но Райка твердо знала, что это он ее имя повторяет. Ведь это она меняла ему подгузники, кормила кашей, у нее он впервые сел и сделал первые неуверенные шаги. Кого же ему звать, когда слова стали складываться?!

Когда Венечке было года три, дом неожиданно пошел под снос, по этому месту должен был пройти новый проспект, жильцов расселили, Райка с мамкой получили квартиру далековато, зато отдельную и двухкомнатную, а Брейшицы, ясное дело, в центре, поэтому хочешь не хочешь — пришлось расстаться, тем более что Райка была уже в девятом классе и времени с трудом хватало только на учебу. Венечка так и не понял, куда делась Яя, и довольно долго звал ее и грустил, но что поделаешь! Да и Райка, хоть и проплакала несколько ночей и потом около каждого незнакомого малыша останавливалась, но, стремительно становясь старше, обратила интерес на куда более взрослых парней и только изредка улыбалась, вспоминая слабенькие Венечкины ручки, обнимавшие ее за шею.

Время летело — не успевали поворачиваться. Райка окончила школу, неожиданно для самой себя поступила в экономический институт, окончила и его, стала работать в проектной организации. Появился мужчина рядом, неплохой, добрый, жаль — женатый. Но правда неплохой. А потом заболела мама. И быстро как-то все случилось.

Она ведь пахала всю жизнь, лежать-то не привыкла. Поэтому полежала всего десять дней. Райку все за руку держала. Жалела ее, не себя, что Райка одна остается. Райка надеялась, что обойдется, но не обошлось... И дружок сердечный пропал. То ли боялся, что с мамой надолго, то ли дома поприжали, но звонить и приходить перестал. И Райка действительно оказалась совершенно одна. Такая тоска навалилась — жуть! Ни одной родной души! Домой ноги не шли, иной раз после работы все по улицам ходит, ходит, пока совсем темно не становится или не замерзнет до дрожи, лишь бы в пустые стены не возвращаться. Вот в такой день она и столкнулась с Бертой Натановной. Та очень постарела, высохла как-то, голова седым одуванчиком, но Райку узнала и рада была страшно. Рассказала, что Рувим вскоре после переезда от инфаркта умер, а они с Венечкой держатся. И похвасталась — Венечка-то уже — двадцать один год, студент МГУ, круглый отличник! И затащила Райку к ним. Они сели пить чай, вспоминать общий подъезд, Райну мамку, а тут пришел Веня. Он ужасно был похож на Рувима — невысокий, щуплый, рано начавший лысеть. И такой родной, что Райка вдруг почувствовала себя солдаткой, дождавшейся с фронта сына и мужа в одном лице. А Веня сначала смутился, но увеличенные стеклами очков глаза сияли, он сел рядом с Райкой близко-близко и старался все время ее коснуться, словно проверял, настоящая ли она, и не мог все надышаться таким знакомым ее запахом. Потом он пошел ее провожать. Потом пригласил в кино. И в театр. И в Сокольники. И еще в кино. И замуж. И опять все были счастливы. Берта — потому что могла спокойно отправиться к Рувиму, ведь Венечка был в надежных и верных руках. Веня — потому что любил Райку с того момента, как открыл глаза, и вдвойне — с того момента, как увидел снова. А Райка — потому что у нее была родная семья, в которой ничего не надо было изображать и доказывать. Веня спас ее от случившегося сиротства, а она его — от грядущего. А многие ведь не хотят селиться на первом этаже...

СОСЕДИ

— Рай, не знаешь, кто у нас в однокомнатной на первом этаже? Да я знаю, что бабка какая-то, я конкретно спрашиваю, что о ней известно. Противная, мрачная всегда. Буркнет «здрассте» и идет, а то и вообще молча мимо тебя чешет, как будто ты — пустое место. И вид всегда такой жуткий, словно под вагоном сюда приехала. Одетая, как нищенка, голову небось овечьими ножницами стригли... А квартира-то кооперативная! Значит, денежки водятся. И льготы есть у нее, мне в домкоме говорили. И пенсия особенная, Валька-почтальонша еще удивлялась — ни у кого тут такой нет, какие-то все переводы-выплаты приходят! Ну как — мне зачем?! Во-первых, знать надо, кто рядом, во-вторых, хоть она и нелюдимая такая, но старая же, помощь-то нужна и вообще... Я вот не видела, чтоб кто ездил к ней. Значит, одна! Так, я думаю, может, походить к ней. Убрать-помыть-сготовить, то-се.. Ну ты же знаешь, нас в двух комнатах шесть человек и Нинке осенью рожать! А бабке этой кому-то же надо квартиру оставить и начинку всю, не с собой же в гроб! Ну я и не говорю, что завтра, пусть живет пока, но не вечно же! Да еще с такой рожей перекошенной. Как звать ее, не знаешь? Подойду завтра к ней, помощь предложу.

Александра Львовна, войдя, заперла дверь, в крохотной прихожей сунула в ящик пакет картошки, пустую сумку бросила рядом и прямо в ботинках и пальто прошла в

комнату. Не зажигая света, она села в продавленное кресло у окна, выходящего в редкий лесок, и в который раз подумала, как повезло ей с видом из окна — людей практически она не видит, только этот жалкий лесок, совсем не похожий на тайгу вдоль Мертвой дороги из Салехарда в Игарку, где она девять лет валила лес. С тех пор, как она вернулась, прошло больше десяти лет, давно кончился кошмар коммунальной конуры, реабилитация сделала ее почти богатой, пенсия с учетом северных, плюс компенсация за родителей позволили стать хозяйкой этой восемнадцатиметровой крепости, а больше ничего ей и не надо было. Возможность не видеть никого на соседних нарах, не находиться круглые сутки среди людей, пусть и таких же загнанных, как ты, не вставать затемно на поверку и самой выбирать, когда идти в баню и какую баланду сварить сегодня, была высшим знаком счастья и свободы! Всем она сегодня была довольна, еще бы не выходить на улицу, на солнце, от которого так резало глаза и она ощущала себя совершенно голой, потому что годами такой яркий свет либо бил в глаза на допросе, либо шарил по телу при очередном обыске. Она вообще неуютно ощущала себя вне квартиры. Когда она шла на станцию в магазин или аптеку, ей все время казалось, что это побег, что она напрасно пытается раствориться среди этих спешащих по делам людей, все равно ей не скрыться, ее вот-вот поймают и добавят срок. Поэтому она выходила только по крайней необходимости и переводила дыхание, только задвинув изнутри засов входной двери.

Зато в комнате было чудесно! Спокойно, тихо, полумрак не раздражал глаза, уютно посвистывал чайник, голова кружилась от запаха борща или свежей булки. Если не открывать окна и не снимать пальто и тяжелые мужские ботинки, ей было даже тепло, хотя она годами не могла согреться. Тогда, на лесоповале, она коченела так, что с трудом останавливала себя, чтоб не сунуть руки в костер, и, похоже, ледяной озноб поселился внутри нее навсегда, но все же в этом последнем своем убежище ей удавалось загнать его так глубоко, что он почти себя не обнаруживал. А еще здесь, в квартире, собрались все, кому не было больше на земле места и кто все эти годы прятался внутри нее. А теперь — пожалуйста! Здесь, стоит только захотеть и позвать, рядом оказывается расстрелянный отец, сгинувшая в лагерях мама, пропавший без вести муж и выбитый сапогом на допросе ребенок. Она была уверена, что это мальчик, звала его Левушкой в честь деда, родился он тогда — ему было бы скоро тридцать, но здесь он оставался всегда ребенком и именно для него в малюсеньком холодильнике «Север» всегда стояла бутылка свежего молока, сама она молока не пила — организм не принимал. Неудивительно, что ей никого больше не хотелось видеть. У нее и так тут полно хлопот и большая компания. Она хотела еще котенка завести или щенка, тем более что молоко все равно регулярно выливалась, но она навсегда усвоила, что нельзя, чтоб рядом был кто-то, зависящий от тебя, она помнит, как выли каждую ночь ее товарки, гадая о судьбе оставленных детей. Свобода так зыбка, какие уж тут могут быть питомцы...

— Александра Львовна, Вы дома? Это Лида, соседка из сорок второй квартиры! Здрасьте! Я че зашла-то — я смотрю, как редко вы выходите, тяжело идете так, всегда одеты очень тепло... Я ж понимаю, что старость — не радость, что трудно одной-то в ваши года. Мне вон пятьдесят восемь — и то я уже сдавать стала, не то что раньше, а вам-то, извиняюсь, небось, за семьдесят далеко? Сколько?? Пятьдесят шесть?? Ой, Александра Львовна, че-то вы путаете! Ну, семьдесят три я еще поверю, а то что же, моложе меня, что ли?! Нет, мне-то все равно, я ж не на работу вас принимаю, наоборот, сама хотела напроситься к вам в помощницы по хозяйству, но раз вы такая молодая, то и смешно говорить об этом! А, уж простите за любопытство, где жизнь-то вас побила так? И

зубы все железные, и голова белая, и, что скрывать, руки вон так дрожат, что чайник с трудом удерживают? Это болезни какие-то или, как бабки говорили, божья кара такая? Или, может, все-таки в бумагах напутали чего и возраст ваш другой? Ой, ой, прямо волком на меня глядите, будто я виновата в чем! К вам с добром пришли, а вы аж выпихиваете из квартиры! Я-то по доброте душевной думала, дай бабушке сиротской подмогну по-соседски, а вы, как собака цепная! Боитесь, добро ваше увижу да утяну?! Я, может, и беднее вас, только мне не надо, я чисто от сердца помощь предлагала! — Лида так страстно укоряла Александру Львовну за негостеприимство, что сама поверила в свое бескорыстие и чуть не заплакала. Тем более поняв, что при таком возрасте соседки квартиры ее не дождаться... — Пожалуйста, я уйду и дверь вашу сроду больше не открою, колотитесь, как хотите! Не жалуйтесь только потом! — И, пятясь, Лида выскочила вон, громко хлопнув за собой дверь. — Нет, ну какая старуха противная! Я Райке и говорила, что мразота! Пусть сама в своем тряпье ковыряется и хоть грязью зарастет! И все врет она, что ей пятьдесят шесть! Из ума выжила, видать! Вон сынок мой, Толик, вохровец, врагов Родины охраняет, так он рассказывает, что они пашут, как проклятые, и то лучше выглядят, чем бабка эта! Тьфу, только время зря потеряла! Лучше бы на втором этаже у евреев пошла окна помыла, заработала бы...

Александра Львовна заперла за Лидкой дверь, налила кружку почти черного чая, подмигнула сама себе, отразившись в стеклянной дверце буфета, и с наслаждением опустила в кресло у окна. Ну и пусть зубы железные! Но жива же! Совсем весна уже! Не успеешь оглянуться — зацветет все! Надо только найти кого-то окна помыть, самой не осилить...

ЖИЗНЬ КАЧНЕТСЯ ВПРАВО, КАЧНУВШИСЬ ВЛЕВО...

Памяти моей мамы Софы

Теплушка подпрыгивала на стыках рельсов, ходила ходуном, и казалось, что еще миг — и она развалится. В разбитые окна очень дуло. Соня куталась в вытертый до дыр мамин платок, но настроение от этого не портилось, только хотелось мчаться еще и еще быстрее, чтоб исчезли за окном унылые пейзажи казахских степей и стало угадываться вдаль родное Сталино. Два года они были в эвакуации, жили на станции Отар в Казахстане, но не было дня, чтоб Соня, проснувшись, не искала за окном привычную картинку родного дворика. Как же она соскучилась! Они бежали из Сталино так поспешно, что десятилетняя Соня даже не поняла сперва, что происходило. Все время была слышна артиллерия, линия фронта проходила совсем близко, то и дело начиналась повальная паника от слухов, что немцы уже вошли в город. Взрослые метались, собирали вещи, шли бесконечные прощания. Было неясно, все ли организации и их сотрудники будут эвакуированы или людям надо выбираться из города самим. Дома все время толклись посторонние. Мама то упаковывала вещи, то вытаскивала их снова, то принималась плакать, то бежала к соседям, уговаривая взять что-то на хранение. Никто толком не понимал, что делать. Сонин папа в Первую мировую был в немецком плену, там, как он вспоминал, к нему хорошо относились, по-немецки он говорил лучше, чем по-русски, ведь немецкий был так похож на идиш. И Соня слышала, как папе говорил сосед дядя Тарас, что под немцами будет даже лучше. И учитель Остап Брониславович сказал

папе, что все разговоры про немецкую жестокость — чистая пропаганда, что хорошие портные всем нужны, а хуже, чем при коммунистах, точно не будет. И муж маминой сестры Фрейды дядя Веня тоже так думал. Но говорить это никому нельзя было, об этом родители шептались на кухне. Соня слышала, разговоров этих очень стыдилась — она же была пионерка, но понимала, что болтать не время и нельзя подводить родителей.

Папа все это слушал, Соня видела, как он волнуется и все время о чем-то думает, даже наедине с собой с кем-то споря и качая головой. Потом, почти перед самым отъездом, он позвал Сонину маму и сказал: «Если есть даже один процент правды в том, что немцы притесняют евреев, оставаться нельзя. Да и вообще невозможно представить жизнь в городе, занятом немцами! Поэтому, Циля, поговори с родней, оставшихся мужиков все равно не сегодня-завтра призовут, а женщины пусть возьмут детей и самое необходимое, надо покупать теплушку и ехать!». Мама плакала, потом целый день к ним шли люди, которые покупали мамины вещи, посуду и украшения. Соне было поручено собрать маленький чемоданчик, а поздно вечером пришел папа и объявил, что послезавтра отъезд. Весь следующий день они с мамой и какими-то дядьками вытаскивали мебель, ковер, ванну и тазы, люстру и даже пианино и относили к соседям, с которыми всегда очень дружили. Те плакали и обещали сохранить все до их возвращения, но Соня слышала, что некоторые после ухода радовались или говорили, какие эти жида богатые. Соня знала, что жида — это еврей, но это плохое слово, его раньше почти никто про нее с родителями так не говорил, а тут даже учительница Клавдия Власовна, у которой Соня все три года была отличницей, засмеялась, когда занесли Сонино пианино, а вслед Сониным родителям прошептала: «Отзвучали ваши жидовские пляски!». Но Соня об этом сразу забыла, не до того было. Фрейда, три ее дочки и муж Веня ехать с Сониной семьей отказались, хоть мама и плакала, и умоляла хоть детей с собой отдать. Но Веня повторял, что все разговоры о немцах — чушь, это культурная, цивилизованная нация, к тому же, возможно, его фабрику эвакуируют, а значит, и его с семьей как директора. А если и придется им остаться, так вместе они скорее проживут, да еще старшая приемная дочка Милка поможет. Фрейда плакала, мама Сонина плакала, девчонки обнимались и тоже плакали, какие уж тут глупости можно помнить...

На следующее утро, чуть свет, все собрались на вокзале, хотя там было настоящее светопреставление! Соня вообще чуть не потерялась и не осталась в Сталино! У нее была огромная кукла — настоящий ребенок с фарфоровой головой, закрывающимися глазами, настоящими волосами под шапочкой и в клетчатом пальто. Соня никому не отдала его на хранение, ей это и в голову не приходило! Но, когда родня с детьми и узлами начала набиваться в теплушку, папа сказал: «Оставь куклу. Это место может занять ребенок!». Папа, который две ночи шил костюм директору базы за эту куклу, велел ее оставить! Мама заплакала, но не заступилась! Соня ревела, решила обидеться и уйти, потом поняла, что это глупо, но куклу-то надо кому-то оставить! Возвращаться в родной двор было поздно, она и так чуть не опоздала, и тут Соня увидела соседского мальчика. Их мамы дружили, а она с ним — нет. Во-первых, он был старше и в этом году окончил школу, а во-вторых, он обзывал ее Коврижкой и Софкой-морковкой. Она, правда, тоже не отставала и дразнила его Рувечик — соленый огуречик. О какой дружбе вообще можно было говорить! Тем не менее никого другого поблизости не было. Соня подошла к нему и попросила сберечь ее куклу. Рувка не стал смеяться, куклу забрал, потом обнял Соню, поцеловал ее в мокрую щеку и сказал, что уходит на фронт, но куклу спрячет в сарае, где

у Сони был тайник. Вот чудной! Оказывается, знал, где тайник, а ничего никогда не взял...

Как они ехали в Казахстан, Соня старалась никогда не вспоминать. Все время бомбили, ехали ужасно долго, было жарко, тесно, нечем дышать, невозможно помыться. Перед отъездом продуктов не было, прилавки были пустые, растерянная мама где-то по случаю поменяла золотые часы на ведро шоколадного масла. Хлеб кончился в дороге раньше, чем это проклятое масло. Есть хотелось страшно, все по углам грызли свое, а Соня давилась этим чертовым маслом, и ее все время мутило. Наверное, она никогда его больше в рот не возьмет! Иное дело — сейчас, когда поезд несется домой! Под лавкой стоит корзина душистых яблок, а в полотняном мешке лежат казы, шужук и вкуснющие баурсаки — гостинцы, что им собрали тетя Айзере и дядя Жайдарбек, у которых они прожили все два года эвакуации. Но сейчас даже есть не хочется! Хочется только скорее домой. Они собирались даже раньше выехать, но боялись застрять в дороге, пока Сталино не освободят. А теперь все нормально! 8 сентября Сталино освободили, числа 12-го они уже будут на месте и Рош-а-Шана, еврейский Новый год, встретят 30 сентября со всей родней дома! Какая же сладкая и чудесная жизнь у них начнется! Соня так соскучилась по оставленным в Сталино близким! Как, наверное, повзрослели дочери тети Фрейды, стали совсем девушками, грудной троюродный брат Йоська наверняка уже бегаёт и что-то лопочет. Баба Ида Гуревич, должно быть, совсем старая, она и перед войной едва ходила, а ее Ривка точно уже вышла замуж! И никто ее, Соню, не узнает! Она уезжала маленькой толстенькой девочкой, а возвращается вытянувшейся, стройной тринадцатилетней барышней. Вот шум поднимется! Интересно, а Рувка в Сталино или еще в армии? Сберег он ее куклу или нет? Она уже Соне не очень и нужна, просто интересно, можно ли на Рувку положиться. И дразнить себя она ему больше не позволит. Как и сама не будет. Взрослые уже.

Соркины вернулись в Сталино 19 сентября. Дом их на Третьей линии стоял и белел боками, словно не было войны. Только им там места не нашлось. Их и во двор-то не хотели пускать, там в сараях жили какие-то тетки незнакомые, которые сразу начали скандалить. А в их доме теперь учитель жил, Остап Брониславович. Свой дом дочке замужней оставил, а сам с женой и младшим сыном в Сонином доме поселился. Он-то не скандалил, но видно было, что недоволен, что они вернулись. На окнах висели Сонины занавески, диван был накрыт маминым покрывалом, а жена Остапа Брониславовича тетя Ганна варила во дворе на кирпичках яблочное варенье в мамином медном тазу. На Сонином пианино бренчали близнецы Клавдии Власовны, а мамин ковер разгораживал их комнату на две поменьше. Соркины вернулись одними из первых, они еще толком и не понимали, что дальше-то делать, куда вселяться, у кого требовать справедливости. Никто им особенно не радовался, наоборот, многие отводили глаза или делали вид, что не узнают. Но это все ерунда. Самое страшное было не это. Самыми страшными были новости. Никто из оставшихся родных не уцелел. Тетю Фрейду с мужем расстреляли в первые же дни. Про фабрику, где дядя Веня директорствовал, никто и не вспомнил, она была местного значения и эвакуации не подлежала. А ее еврей-работники, как и другие оставшиеся в Сталино евреи, не подлежали жизни. Поэтому ждали своих эвакуированных родственников в шахтах и рвах. Так что маму не волновало, кто сейчас играет на их пианино и носит ее горжетку. Каждый день она ходила на опознание, пытаясь найти

Фрейду и других среди тел, поднятых из шахт. Говорить она в эти дни не могла совсем, только плакала.

Как выяснилось, Фрейдиных дочек там искать не надо было. Во время ликвидации их, как рассказывали шепотом знакомые, вывел из расстрельной очереди пожилой говоривший по-русски немец, видно, из рижских. Уж больно хороши были девочки. Он им записку дал, и почти все два года они отработали под городом в садоводстве. И так осмелели, что накануне прихода наших решили выбраться в Сталино, посмотреть, что там в их доме. Их встретил сосед Бонька и сразу узнал — он у них всегда прятался от быстрого на расправу отца-пьяницы. Узнал и не поленился сбегать за патрулем. Их расстреляли в собственном дворе. И там же зарыли, где раньше была помойка. Зато мама теперь знала, где их могила, а не всем так повезло. Ни Фрейду с мужем, ни бабу Иду с Ривкой, ни маленького Йоську, ни еще три десятка родных так найти и не удалось. А вот кукла Сониная была цела, Рувка не обманул и хорошо запрятал ее в тайник между полом сарая и фундаментом. Сам он не вернулся, он погиб, только куклу спрятать и успел.

Сонин папа пошел к председателю исполкома. За две ночи сшил ему костюм, за третью — пальто его жене, и Соркиным вернули одну комнату в их доме, уплотнив недовольного Остапа Брониславовича.

Вообще радости они вызвали немного, скорее удивление, что выжили. Соня не раз слышала, как в спину им говорили: «Какие живучие жида эти! Везде за жизнь цепляются, ничем их не возьмешь, даже дустом!». И смеялись. А иногда плевались. Но это нестрашно. Самое ужасное позади. Хоть некоторые соседи и кричат: «Зря вас немцы не добились!». Но все-таки, видимо, не зря они выжили. Кто-то же должен был жить за тех, кто лежит в шахте. Вон еще несколько семей вернулось. И с фронта дядя Миша Брехман пришел без ноги и дядя Лазарь Глик контуженный. И Левка Ситковецкий нашелся. Его няня детсадовская тетя Паня всю оккупацию в подвале прятала. Так что мы, и правда, живучие! 30 сентября 1943 года будет Рош-а-Шана — Новый год. Мы соберемся вместе и будем радоваться, что мы дома, что мы живы, что кто-то еще вернется. И жизнь начнется снова. Горькая или сладкая, голодная или сытая, страшная или веселая, но жизнь.

ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ

— Хозяйка, тут портфель какой-то с фотографиями и бумажками. Его тоже на костер или взглянешь?

О, Господи... Надо было весь сарай облить бензином и подпалить с четырех сторон, а то они мне третий день житья не дают, то одну муть притащат на опознание, то другую. Ну что там может путного лежать, если уже десять лет минимум туда и дверь-то никто не открывал?!

Из маленького рыжего древнего портфельчика словно нехотя выползли обломанные на углах фотографии и слежавшиеся пачки писем, справок и бланков. Ну и кто это?

На нее, как на объектив старинного фотоаппарата в ожидании птички, испуганно и напряженно смотрели странно одетые женщина и мужчина. Мама дорогая! Да это же прабабка и прадед! Она никогда их не видела даже на снимках, но с незнакомого лица смотрели глаза бабушки, мамы и ее собственной дочки. Вот уж правда — кровь не вода... Где они фотоателье-то в местечке нашли? Похоже, это они только поженились, год

примерно 1895... Ага, вот еще — с тремя девочками. Ну бабушку она узнала сразу, значит, слева старшая, Фейгл, которую немцы расстреляли, а младшая, Дина, еще совсем маленькая, не узнать.

Какой занятный портфельчик! Не помню такого ни у бабушки, ни у мамы... Откуда он взялся и как попал в их сарай?! Так, это уже Дина одна, лет семнадцати... Совсем не похожа на сестер. Те — типичные зажатые местечковые девочки, а Дина — словно дочь других родителей, уверенная в себе, совершенно светская барышня, не припечатанная национальными комплексами. Это и понятно, на ее долю не досталось погромов, напротив, она единственная училась в городе и потом окончила университет. Вот тут и копии ее аттестата и диплома, какие-то еще комсомольские и профсоюзные бумажки, грамоты и прочая общественная требуха. Вот, значит, чей это портфельчик! Оооо, а на этой фотографии Дина — просто звезда Голливуда. Понятно теперь, почему все, кто знал ее молодой, заводили глаза и в аффектации вспоминали ее несказанную красоту! Действительно, какая же необыкновенная! Совершенно неотразимая! На обороте написано 1931 г. Это она вернулась после окончания университета, ей здесь лет двадцать пять. Нет, но какая богиня! Конечно, сразу замуж выскочила. Мама рассказывала, что, когда Дина с Павлушей, мужем своим, по улице шли, все шеи сворачивали — такая пара была! Оба высокие, стройные, она — смуглая, глаза в пол-лица, аж горячие, каштановые волосы по пояс, а он — герой скандинавских мифов, синеглазый, с роскошной русой шевелюрой... Ну как на них не засмотреться! Жаль, здесь всего две их общие фотографии, 32-го года и 34-го. Ну да, потом-то пошли другие фотографии. Отдельные. Фас и профиль.

Павлуша учился в Америке, как вернулся — сразу назначили главным инженером шахты, Дина не работала и не очень тогда зналась с родней — слишком по-разному они жили. У Дины с Павлушей был свой круг, вся местная знать. Только очень недолго. Один за другим стали исчезать их знакомые, иногда что-то становилось известно. Вот и Дина, беременная их первенцем, услышала, что будет показательный процесс над другом их дома, директором фабрики. Решила пойти послушать, все равно Павлуша с утра до ночи пропадал на шахте. Только часа через три, когда подняли давать показания, Дина поняла, что седой, трясущийся, беззубый дед — это тридцатисемилетний веселый толстяк, певший с ней дуэтом романсы и не пропускавший ни одного застолья. Он говорил очень тихо, все время кашлял, смотрел на нее, в упор невидящими глазами, но она расслышала, что одним из его сообщников-вредителей был ее муж... Она прибежала домой, не дожидаясь окончания суда, начала уговаривать вернувшегося с работы Павлушу немедленно уехать, бежать как можно дальше. Он гладил ее по голове, успокаивал, говорил, что старый приятель, видно, и впрямь враг, раз возводит напраслину на людей, даже прикрикнул на нее. А через час его забрали. Когда она метнулась следом, пытаясь сунуть мужу узелок с едой и бельем, один из особистов резко отшвырнул ее, она налетела животом на кованый сундук в передней и потеряла сознание. Через два дня у нее случился выкидыш, и домой из больницы она уже не вернулась, — ее забрала к себе бабушка — Динина средняя сестра. Это время не отпечаталось на фотоснимках. О нем были бесконечные письма и ходатайства, заявления и воззвания, которые бесстрашная и неумная Дина рассылала по всем инстанциям. Даже в этом портфельчике они навечно спаяны заржавевшей скрепкой. Чернила на них выгорели, местами буквы похожи просто на бледно-голубые капли, и кажется, что эти письма заполнены слезами вместо слов. Но Павлуше это не помогло. Десять лет без права переписки.

Следующие фотографии — это 44-й год. В этой хмурой, потяжелевшей, суровой женщине с седой челкой ту Дину уже не узнать. Она только вернулась из эвакуации, узнала, что старшая сестра с семьей и вся не сумевшая выехать родня погибли под немцами, что они были расстреляны и сброшены как раз в ту шахту, где работал когда-то Павлуша. А потом дошли слухи от вернувшихся после ранений штрафников, что видели Павлушу в лагере под Норильском, в Дудинке, что ему заменили приговор на двадцать пять лет. И она, отряхнув с ботинок песок казахских степей, пустилась в долгий путь на север. Вот и заявление об увольнении с работы, и копии запросов в НКВД, и разрешение на въезд в Дудинку. А вот снимок, где Дина в каком-то огромном черном пальто и мужских ботинках, с вещмешком за плечами и фибровым чемоданом стоит на набережной Енисея, по которому месяц потом добиралась в сторону Норильска. Она прожила в Дудинке почти десять лет и видела мужа целых два раза, когда заключенных гнали в баню через поселок.

Здесь, в портфельчике, лежат ее прошения о встрече с ним, ходатайства перед лагерным начальством разрешить им недельное свиданье (она слыхала, что иногда такие давали), но во всем ей было отказано. Ей только разрешили забрать его, сактированного, уже лежащего, на саночках в съемную комнату и держать его неделю за руку, пока он не закрыл глаза, отмучившись. Там, в Дудинке, Дина и похоронила его, вместо оградки вкопала вокруг холмика ржавые спинки металлических кроватей, подобранные на свалке у казармы НКВД, попросила кого-то сфотографировать ее около Павлушиной могилы, чтоб при оказии можно было найти потом это место, и через пару недель уехала из Дудинки в Москву, к средней сестре и племяннице, чьи письма тоже заботливо хранила в этом портфеле.

Даже не заметила, как солнце село и начало темнеть. Только сейчас почувствовала, как затекли ноги. Она так и простояла у садового столика над этим архивом весь день. На всю Динину жизнь хватило нескольких часов и маленького облезлого рыжего портфельчика.